

ПЛАТОН

ПИР

Диалоги

Платон

Пир

«РИПОЛ Классик»

УДК 11
ББК 87.3

Платон

Пир / Платон — «РИПОЛ Классик», — (Диалоги)

Пир — диалог Платона, посвященный проблеме любви. Написан в 385–380 гг до н.э. Название происходит от места, где происходил диалог, а именно на пиру у драматурга Агафона, где присутствовали комедиограф Аристофан, философ Сократ, политик Алкивиад и другие.

УДК 11
ББК 87.3

Содержание

ПИР	5
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Платон ПИР

ПИР

В диалоге участвуют

АПОЛЛОДОР

ГЛАВКОН

Персонажи, введенные в рассказ

**АРИСТОДЕМ, СОКРАТ, АГАФОН, ФЕДР, ПАВСАНИЙ,
ЭРИКСИМАХ, АРИСТОФАН, ДИОТИМА, АЛКИБИАД**

Кажется, я не готов к рассказу о том, о чем вы спрашиваете меня. Ведь вот недавно случилось мне из своего фалерского дома идти в город, как один из моих знакомых, шедший позади, увидел меня издалека и, желая остановить, шутливо крикнул:

– Ох, это фалерский Аполлодор! Что бы подождать!

Я остановился и подождал. Тогда он сказал:

– Ведь я недавно еще искал тебя, Аполлодор, с намерением расспросить о беседе Агафона, Сократа, Алкивиада и других присутствовавших тогда на вечере: какие речи вели они о любви? Мне рассказывал о них некто слышавший это от Феникса, сына Филиппова, и говорил, что и тебе то же известно; но в его рассказе не было ничего ясного. Так расскажи мне ты, потому что тебе всего приличнее передавать речи твоего друга. И впервых, скажи, – промолвил он, – сам ты участвовал в этой беседе или нет?

– Из твоего вопроса, участвовал ли я, видно уже, что твой рассказчик не рассказал тебе ничего ясно, если ты представляешь эту беседу как дело, происходившее недавно.

– И я то же думаю.

– Куда мне, Главкон! – промолвил я. – Разве не знаешь, что протекло уже много лет, как Агафон и не приезжал сюда? А тому, как я начал обращаться с Сократом и каждый день ревностно замечать, что он говорит или делает, не прошло еще и трех лет. До этого же времени я бегал куда случалось и, думая, будто что-то делаю, был самым жалким, не менее, чем ты теперь с твоей мыслью, что лучше делать все, что угодно, нежели философствовать.

– Не смейся, – прервал он, – а скажи мне, когда происходила эта беседа.

– Происходила она еще во время нашего детства, когда Агафон, выиграв награду первой своей трагедией, на другой день приносил жертву благодарности вместе со своими хористами.

– Стало быть, это было, как видно, очень давно. Кто же тебе пересказывал, не сам ли Сократ?

– Нет, клянусь Зевсом, – отвечал я, – но тот же, кто Фениксу, – некто Аристодем, кидафинеец, человек маленький и всегда босоногий. Он был в том собрании, потому что любил Сократа, как мне кажется, больше всех тогдашних. Впрочем, кое о чем из того, что слышал от него, после спрашивал я и у Сократа, и он подтвердил то, что тот рассказывал.

– Почему же ты не расскажешь этого мне? – спросил он. – Ведь дорога-то в город такова, что идущих располагает говорить и слушать.

Итак, идя вместе, мы завели о том речь. Вот причина, по которой я, как и сказал вначале, не был готов к этому. И если теперь надобно рассказывать, то должно сделать это, потому что, кроме пользы, которую думаю получить, я вообще бываю чрезвычайно рад, когда или сам говорю что-нибудь о философии, или слушаю других. А что касается до иных речей, особенно каковы они у вас – людей богатых и предприимчивых, то вы надоедаете ими, и мне жаль друзей ваших, потому что, ничего не делая, вы думаете, будто что-то делаете. Может, и вы со своей стороны почитаете меня несчастным, и я полагаю, что ваше мнение справедливо; только относительно вас-то у меня не мнение, а знание.

Главкон. Ты всегда тот же, Аполлодор, всегда порицаешь и себя и других, и мне кажется, начиная с себя, просто всех почитаешь жалкими, кроме Сократа. Не знаю, откуда взяли называть тебя этим именем – именем неистового; только в своих речах ты всегда таков – сердисься и на себя, и на всех других, кроме Сократа.

Аполлодор. Ах, любезнейший! Уж разумеется, что если я так мыслю и о себе, и о вас, то неистовствую и заблуждаюсь.

Главкон. Но теперь, Аполлодор, не стоит спорить об этом; а вот о чем мы просили тебя – не откажись и расскажи, какие тогда были речи.

Аполлодор. Были какие-то такие. Но лучше постараюсь рассказать вам все сначала так, как тот мне рассказывал.

Он говорил:

Встретившись с Сократом, вымывшимся и обутом в сандалии, что случалось с ним редко, я спросил его: куда он идет таким пригожим? А он отвечал:

– На пир к Агафону. Вчера я ушел с его торжества, испугавшись толпы, и обещал прийти сегодня. Так вот и принарядился, чтобы к хорошему идти таким же. А ты, Аристодем, как находишь намерение идти на ужин незванным? – спросил он.

– Да так, – отвечал он, – как прикажешь.

– Пойдем же вместе, – сказал он, – и испортим пословицу таким изменением, что к столам добрых людей добрые идут сами собою. Ведь Гомер-то, должно быть, не только испортил эту пословицу, но и посмеялся над нею, когда, изобразив Агамемнона в воинских делах человеком отличным и дельным, а Менелая воином слабым, заставил последнего, в то время как Агамемнон принес жертву и давал праздник, прийти к его столу незванным, заставил худшего прийти на пир к лучшему.

Выслушав эти слова, тот сказал:

– Так, может быть, и я поступлю неладно, не как ты говоришь, Сократ, а как говорит Гомер, что, будучи человеком плохим, приду незванный на пир человека мудрого. Разве, ведя меня, ты сам скажешь что-нибудь в мое оправдание? Ведь я-то не признаюсь, что пришел незванный, но что приглашен был тобою.

– Идя вдвоем, – сказал он, – вместе и будем думать друг за друга, что говорить. Пойдем.

Потолковав между собой таким образом, мы пошли. Но Сократ, углубившись как-то в самого себя, остановился на дороге и, когда я хотел ждать его, велел мне идти вперед. Пришедши к дому Агафона, я нашел дверь отворенной и испытал тут, рассказывал он, нечто смешное. В доме встретился какой-то мальчик и повел меня прямо туда, где сидели другие и где я застал их собиравшимися уже ужинать. Там Агафон, только что увидел меня, тотчас сказал:

– А! Аристодем? Кстати пришел, будешь вместе с нами ужинать. А если приход твой для чего иного, то отложи до другого времени. Я и вчера искал тебя, чтобы пригласить, да не мог найти. А почему не привел ты к нам Сократа?

Тут, обернувшись, я увидел, что Сократа за мною не было, и сказал:

– Ведь и мне самому случилось прийти с Сократом, который позвал меня сюда на ужин.

– И хорошо сделал, – промолвил Агафон, – но где же Сократ?

– Остался позади, сейчас войдет. Впрочем, я и сам удивляюсь, где бы мог он быть.

– Мальчик, посмотри, – сказал Агафон, – и введи Сократа. А ты, Аристодем, – промолвил он, – садись подле Эриксимаха.

Мальчик обмыл меня, чтобы мне возлечь, а другой кто-то из мальчиков пришел и доложил, что Сократ, пошедши назад, остановился у соседнего крыльца и не хотел войти по моему зову.

– Вздор говоришь, – сказал Агафон, – зови его и не отпускай.

А я промолвил:

– Нет, оставьте его, ведь у него есть такая привычка. Иногда он отойдет, куда случится, и станет. Я думаю, придет тотчас, поэтому не трогайте его, оставьте.

– Сделаем и так, если тебе угодно, – сказал Агафон. – А вы, мальчики, угощайте нас и непременно подавайте все, что захотите, так как над вами нет распорядителя, чего я никогда не делал. Представляйте теперь, что и я приглашен вами на ужин, и эти прочие, и служите нам, чтобы мы хвалили вас.

После этого стали мы ужинать, а Сократ не входил. Агафон часто приказывал звать Сократа, но он не соглашался. Наконец Сократ явился, по своему обычаю, для беседы, промешкав, вопреки обычаю, не слишком долго; ужин как раз был на середине. Тут Агафон, которому случилось возлечь одному и последним, сказал:

– Сюда, Сократ, поместись подле меня, чтобы, прикасаясь к тебе, я насладился той мудростью, которая представлялась тебе там – у крыльца. Ведь явно, что ты нашел ее и держишь, а без того и с места не сошел бы.

Сократ сел и сказал:

– Прекрасно было бы, Агафон, если бы мудрость была такова, что из полнейшего между нами текла бы в пустейшего, когда мы прикасаемся друг к другу, как вода в чашах из полнейшей через шерсть течет в пустейшую. Ведь если бы такова была и мудрость, то для меня много значило бы склониться возле тебя, потому что от тебя я наполнился бы, думаю, обширной и прекрасной мудростью. Моя-то мудрость, может быть, плоха и сомнительна, как сновидение, а твоя блистательна и весьма успешна: она в тебе, человеке еще молодом, вон с какой силой недавно воссияла и проявилась при свидетельстве более чем тридцати тысяч эллинов.

– Насмешник ты, Сократ, – сказал Агафон. – Немного спустя мы, я и ты, рассчитаемся с тобою относительно мудрости и обратимся к суду Диониса, теперь примиська прежде за ужин.

После того как Сократ восклонился и поужинал, собеседники стали делать возлияния, воспевать бога, совершать все прочее обычное и обратились к питью. Тут Павсаний начал говорить следующую речь.

– Нуте-ка, друзья, – сказал он, – каким бы образом нам легче было пить? Говорю вам, что и после вчерашней попойки я, по правде, чувствую себя очень худо и прошу некоторого отдыха; да многие и из вас, думаю, в этом имеют нужду, потому что вчера тоже были здесь. Так рассудите, каким бы образом полегче нам пить.

На это Аристофан сказал:

– Ты действительно хорошо говоришь, Павсаний. Надобно всячески придумать какое-нибудь облегчение в попойке. Я и сам из тех, которые вчера нагрузились.

Слыша их, Эриксимах, сын Акумена, сказал:

– Вы прекрасно решили; хотелось бы еще услышать одно: находит ли себя способным пить Агафон.

– Нет, – сказал он, – и я не способен.

– Так для нас, как видно, находка, – промолвил он, – то есть для меня, Аристодема, Федра и подобных, если и вы, самые сильные питухи, теперь отказываетесь. Ведь мы-то всегда очень слабы. Сократа я исключаю, потому что он способен к тому и другому и будет доволен, что бы мы ни делали из этих противоположностей. А так как из присутствующих никто не расположен, кажется мне, пить много вина, то, если я скажу правду о пьянстве, каково оно, может, буду не совсем неприятен. Ведь это-то известно мне, думаю, из врачебного искусства, что пьянство для людей тяжело, потому и сам я не хотел бы впредь пить по доброй воле, и другому не посоветовал бы, особенно если он с похмелья от прошедшего дня.

– Да, – прервал его Федр из Мирринунта, – я уже привык верить тебе, особенно когда ты говоришь что-нибудь о врачебном искусстве, а теперь, если хорошо размыслят, поверят тебе и прочие.

Выслушав это, все согласились в настоящее время вести беседу, не предаваясь пьянству, а пить так, для удовольствия.

– Итак, если мы решили, – сказал Эриксимах, – пить сколько каждый захочет, без всякого принуждения, то я подаю голос отпустить вошедшую сюда флейтистку, пусть она играет сама для себя или, когда ей угодно, для находящихся в доме женщин; мы же займемся теперь беседами между собой, а какими беседами, о том хочу предложить вам.

Тут все заговорили, объявляли свое желание и просили его предлагать. Тогда Эриксимах сказал:

– Началом моей речи будет Еврипидова Меланиппа¹, и мысль, которую намерен я высказать, принадлежит не мне, а вот этому Федру. Федр всякий раз надоедает мне следующим вопросом. Не ужасно ли, Эриксимах, – говорит он, – что некоторым другим богам поэты сочинили гимны и пэаны, а Эроту², такому и столь великому богу, из числа столь многих поэтов ни один никогда не сочинял даже похвальной песни? Посмотри, если угодно, на добрых софистов: они писали прозой похвалы Гераклу и другим, равно как и добрейший Продик. Да это еще и не так удивительно: мне случилось видеть одну книгу мудрого мужа, в которой излагалась дивная похвала соли за получаемую от нее пользу; превозносимы были похвалами и многие другие того же рода предметы, и для этого употреблено немало старания; а Эрота до настоящего дня никто из людей достойно воспеть не решился. Вот как не радеют о таком боге! Так говорит Федр, и, мне кажется, говорит хорошо. Потому и я вместе с ним желаю принести свою долю и возблагодарить Эрота; да в настоящее время нам, присутствующим, почтить этого бога, думаю, и прилично. Итак, если то же нравится и вам – предмета для настоящей беседы будет у нас довольно. Мне кажется, всякий из нас, справа и по порядку, должен сказать Эроту, насколько может, прекраснейшую похвальную речь. А начинать первому – Федру, потому что он и первый возлежит, и вместе есть отец нашей беседы.

– Никто не будет отвергать твоего предложения, Эриксимах, – сказал Сократ, – и я не откажусь, ибо утверждаю, что не знаю ничего другого, кроме предметов любовных; не откажутся и Агафон, и Павсаний, и даже Аристофан, у которого все дела – с Дионисом и Афродитой, и никто другой из всех, которых здесь вижу. Правда, мы, возлежащие последними, в этом случае находимся в неравном положении, но, если первые раскроют предмет хорошо и достаточно, для нас это будет удовлетворительно. Итак, в добрый час! Начинай, Федр, восхвали Эрота.

¹ Героиня трагедии Еврипида «Меланиппа Мудрая».

² Богу любви.

То же самое при этом повторили и все прочие и приказывали, что приказывал Сократ. Но всего, что высказано каждым, не помнил хорошо Аристодем; да и я помню не все слышанное от Аристодема. Но что особенно казалось мне стоящим запоминания, то я и перескажу. Первый, повторяю, ораторствовал Федр, начав свою речь откуда-то издалека, а именно что Эрот был бог, между людьми и богами высокий и дивный как во многих других отношениях, так и по отношению к его рождению.

– Важно то, – сказал он, – что Эрот из богов особенно древен, а доказывается это тем, что нет ни одного – ни прозаика, ни поэта, – который говорил бы о его рождении. Гесиод сказал, что прежде был Хаос, а потом

Широкогрудая Гея, всех безопасное лоно,
И Эрот...

После Хаоса, говорит, явились эти два – Гея и Эрот.

А Парменид учит, что Генеса (рождение)

Первым из всех богов беременела в мысли Эротом.

С Гесиодом согласен и Акусилаи. Таким образом, многие сходятся в убеждении, что Эрот – бог самый древний. А будучи самым древним, он есть виновник величайших для нас благ, ибо я не могу сказать, что было бы большим благом для первого юного возраста, как недостойный возлюбленный, а для возлюбленного – как нелюбимое дитя. Ведь что должно руководить людьми, которые намереваются всю свою жизнь провести хорошо, того ни родство, ни почести, ни богатство и ничто другое не в состоянии доставить им так прекрасно, как Эрот. Но что я имею в виду? В делах постыдных – стыд, а в похвальных – честолюбие; ибо без этого ни город, ни частный человек не могут совершать дел великих и прекрасных. Утверждаю, что человек любящий, будучи обличен в каком-нибудь постыдном поступке или перенесши от кого-нибудь обиду, по невозможности отомстить не станет так мучиться ни перед глазами отца, ни перед друзьями, ни перед другим кем-либо так, как перед возлюбленным. То же самое замечаем и в возлюбленном: и он особенно стыдится любимого, когда попадает в деле постыдном. Поэтому если бы представился какой способ составить город или войско из влюбленных и возлюбленных, то они как нельзя лучше управляли бы им, воздерживаясь от всего постыдного и уважая друг друга. Сражаясь вместе, они и при своей малочисленности одерживали бы победу, можно сказать, над всеми людьми; потому что человек любящий в глазах своего любимого, больше чем в глазах всякого другого, не захотел бы оставить строй или бросить оружие, но скорее решился бы много раз умереть, чем показаться ему. А оставить-то любимого или не помочь ему в опасности – да нет такого дурного человека, чтобы его не воодушевил к мужеству сам Эрот, сделав подобным мужественной породе. И действительно, некоторым героям, как говорит Гомер, сам бог внушал отвагу, но такую отвагу рождает из себя и внушает любящим именно Эрот.

Одни любящие решаются умереть друг за друга, решаются не только мужчины, но и женщины. Достаточное свидетельство этого рода представляет грекам дочь Пелия Алкестида, которая решилась одна умереть за своего мужа, тогда как у него были отец и мать, которых она, ради любви, настолько превосходила дружбой, что показала всем: они лишь по имени являются своему сыну родственниками. Совершив такое дело, она была расценена как вершительница прекрасного не только людьми, но и богами. И если из многих, сделавших много прекрасного, боги только некоторым, весьма немногим, оказали такую честь, что отпустили их души из преисподней, то ее душу с радостью отпустили за этот поступок. Таким образом, усердие и добродетель в любви пользуются уважением и у богов. Зато выслали они из преисподней Орфея, сына Ээгра, не позволив ему достигнуть цели, но показали только один призрак жены, за которой он приходил, а самой не показали; ибо открылось, что, как певец под звуки кифары, он был изнежен и не решился ради любви умереть, как Алкеста, но ухитрился

проникнуть в преисподнюю живым. За это-то именно боги и назначили ему наказание и сделали так, что смерть его произошла от женщин. Наоборот, они почтили и послали на Острова Блаженных сына Фетиды, Ахиллеса, который, узнав от своей матери, что он умрет, если убьет Гектора, а если не убьет, то возвратится домой и скончается в старости, решился избрать первое – помочь любезному Патроклу и, с местью в душе, не только умереть за друга, но и по смерти друга. После того чрезвычайно обрадованные боги отлично почтили его за то, что он настолько дорожил своим любящим другом. Эсхил болтает вздор, утверждая, будто Ахиллес любил Патрокла. Ведь первый был красивее не только последнего, но и всех героев, притом у него не имелось и бороды; он, как говорит Гомер, находился еще в ранней молодости. Боги, конечно, особенно уважают это мужество ради любви, однако же более удивляются, чувствуют удовольствие и благодворят, когда возлюбленный любит любящего, чем когда любящий любит возлюбленного, потому что любящий божественнее последнего – он боговдохновен. Поэтому и Ахиллеса почтили они больше, чем Алкесту, – послали его на Острова Блаженных.

Итак, я говорю, что Эрот есть самый старший из богов, самый почтенный и самый способный наградить людей мужеством и счастьем – как живущих, так и умерших.

Вот какую речь сказал Федр, а после Федре говорили другие, речи которых Аристодем вспомнить не мог и потому, оставив их, передал речь Павсания. Павсаний начал так:

– Нехорошо, мне кажется, Федр, изложил ты нам свою речь, если она просто-напросто состоит в одной похвале Эроту. Пускай уж так, если бы Эрот был один, а то он ведь не один; если же не один, то правильнее будет предварительно сказать, которого из них надобно хвалить. Итак, я постараюсь поправить это: сперва скажу, которого Эрота должно хвалить, а потом превознесу его похвалами, достойными бога. Все мы знаем, что без Эрота нет Афродиты, поэтому если бы Афродита была одна – один был бы и Эрот, а так как первых две, то, по необходимости, два и последних. Да и как богинь не две? Ведь одна-то старшая, не имеющая матери, дочь Урана, которую и называем небесною; а другая – младшая дочь Зевса и Дионы, которой имя – всенародная. Поэтому необходимо и Эрота, помощника последней, правильно называть всенародным, а того – небесным. Итак, хвалить следует, конечно, всех богов, однако ж нужно постараться сказать, которому что свойственно.

Всякое дело таково, что, совершаемое само по себе, оно ни прекрасно, ни постыдно. Например, то, что делаем мы теперь – пьем, поем, разговариваем, – само по себе не имеет ничего прекрасного, но дело наше выйдет таким, смотря по тому, как сделается: если будет делаться хорошо и правильно – окажется прекрасным, а неправильно – постыдным. То же самое и в любви: не всякий Эрот прекрасен и достоин похвалы, а только тот, который внушает любить хорошо.

Итак, спутник всенародной Афродиты поистине есть всенародный Эрот, и способен он на все, что угодно; и вот его-то любят люди дурные. Такие люди любят не менее женщин, как и мальчиков; потом, в тех, кого любят, смотрят больше на тела, чем на души; и наконец, любят, насколько это возможно, тех, кто поглупее, имеют в виду лишь совершить дело, не заботясь о том, хорошо ли это будет или нет. Отсюда приходится им делать то, что случится, – иногда доброе, иногда противоположное этому, ибо их любовь – от той богини, которая гораздо моложе, чем другая, и которая принимает *участие* в рождении детей мужеского и женского пола. Напротив, небесная любовь – от богини небесной, принимающей участие не в женском поле, а только в мужеском (это-то и есть любовь к мальчикам), следовательно, от старшей, непричастной сладострастию. Потому-то воодушевленные этим Эротом обращаются к полу мужескому, по природе сильнейшему, и любят то, в чем больше ума. Влекомых действительно этим Эротом можно узнать и по самой любви их к мальчикам; потому что последние становятся любезными им по природе не прежде, как став разумными, что сближается с возрастом совершеннолетия. С того времени, думаю, они готовы бывают любить мальчиков так, чтобы обращаться с ними во всю жизнь и жить сообща, а не обманывать юношу, овладев им еще в возрасте

несмысленном, чтобы потом посмеяться над ним и перебежать к другому. Должно даже постановить закон, запрещающий любить малолетних, чтобы на дело неизвестное не тратить слишком много сил; ибо неизвестно, ко злу или к добру пойдет рост мальчиков относительно души и тела. Достойные люди и сами по себе охотно исполняют этот закон; но должно принуждать к сему и тех всенародных любителей, как принуждаем их, сколько можем, не любить свободных женщин. Ведь эти-то люди бесчестят любовь настолько, что некоторые осмеливаются говорить, будто постыдно оказывать ласки любящим. А говорят-то они подобным образом, видя насилие и неправду, творимую как раз этими людьми, потому что всякое дело, совершаемое не совсем благопристойно и законно, по справедливости вызывает порицание.

Притом закон касательно любви в других городах понять легко, потому что там он определяется просто, а здесь и в Лакедемонe труден он для определения. В Элиде, например, и в Беотии, где нет привычки к мудреным речам, закон говорит просто, что дозволено оказывать ласки любящим. И никто, ни юноша, ни старец, не скажет, что это дело постыдное, – не скажет потому, думаю, чтобы не иметь нужды убеждать молодых людей речами, в которых там несильны. Напротив, по всей Ионии и везде в других странах, какие только подвластны варварам, это считается постыдным. Ведь у варваров, при их тирании, любовь постыдна в той же мере, в какой постыдна философия и гимнастика. Ведь для правителей, думаю, вредно, когда их подданные имеют высокие помыслы, крепкую дружбу и общение, между тем как Эрот именно это и любит внушать. Здешние тираны познали это на собственном опыте: ведь известно, что любовь Аристокрита и дружба Гармония, получив силу, уничтожили их власть.

Итак, где принято, что постыдно оказывать ласки любящим, там это произошло от худого качества законодателей, от своекорыстия правителей и от слабости подвластных, а где думают просто, что это хорошо, там такое правило бездействием своей души допустили законодатели. Здесь закон в этом отношении гораздо лучше, но его, как я сказал, нелегко продумать. Здесь господствует мысль, что лучше любить, как говорят, открыто, чем тайно, и любить особенно самых благородных и добрых, хотя бы они были и не так красивы, как другие, тем более что любящий поддерживается удивительным ободрением, проистекающим от всех, как будто бы он делает не что-нибудь постыдное; так что, если ему сопутствует успех в любви, это кажется хорошим делом, а нет – постыдным. Да и обычай дал любящему право стараться одерживать победы и хвалиться совершением чудных своих дел. А кто осмелился бы действовать, преследуя что-нибудь другое, и совершать иное, кроме этого, тот навлек бы на свою философию великое негодование. Ведь если бы, намереваясь получить от кого-нибудь деньги, или правительственную власть, или иную силу, захотел он делать то, что делают любящие в отношении к своим любимцам – а любящие разливаются в упрасиваниях и мольбах, дают клятвы, лежат у дверей, решаются на такую рабскую службу, какой не несет ни один раб, – то ему воспрепятствовали бы в этом и друзья, и враги: последние стали бы порицать его за угодничество и низость, а первые отчитывать и стыдиться тебя. Напротив, любящий, делая все подобное, слышит одобрение; да и закон позволяет ему такие дела без укоризны, как будто бы он совершал что-нибудь вполне прекрасное. Важнее же всего то, что, поклявшись как говорят многие, он один получает от богов прощение в клятвопреступлении, потому что в любви полагают, нет клятвы. Таким образом, любящего, по сути здешнего обычая, облачают всеми правами и боги, и люди. Так, исполняясь этой мыслью, можно в нашем городе почитать делом вполне прекрасным – любить и быть другом любящих. Если же отцы, ставя над любимыми педагогов, не позволяют им разговаривать с любящими и педагогу приказывают смотреть за этим, а сверстники и друзья, видя что-либо такое, начинают порицать их, старшие же не мешают их порицанию и не бранят за то, что они говорят неправильно, то, взирая на это, можно опять подумать, что такое дело считается здесь очень постыдным.

Между тем все дело состоит в следующем: несомненно то, что сказано вначале, то есть что это дело само по себе ни прекрасно, ни постыдно, но если совершается прекрасно – пре-

красное, а постыдно – постыдное. Совершать его постыдно – значит оказывать ласки человеку дурному и дурно, а совершать прекрасно – значит благоприятствовать доброму и добрым способом. Дурной человек есть тот всенародный любитель, любящий больше тело, чем душу, потому что и сам непостоянен, и не любит ничего постоянного. Коль скоро тело отцвело – он тотчас улетает от любимого, осрашив его множеством слов и обещаний. Напротив, любитель доброго нрава остается на всю жизнь, так как он слит с постоянным. Этих-то наш обычай велит хорошенько испытывать и одним оказывать ласки, а других избегать, за одними следовать, а от других удаляться. Он установил даже пробы и меры, чтобы узнать, к которым относится и к которым любимый. По этой-то причине, во-первых, постыдным признается делом уступать скоро, чтобы было время, которым многое испытывается хорошо; потом, постыдным делом признано соблазнять деньгами и политическим могуществом, даже если бы уступка и недостаток упорства происходили от притеснений или даже если бы не было отказа – в расчете получить деньги и вступить в общественные должности. Ведь все подобное кажется и нетвердо, и непостоянно, кроме того, что из такой связи не происходит благородная дружба. Итак, нашему обычаю остается один путь, которым мальчик может достойным образом угождать любящему. Мы считаем, что если поклонника, как бы сильно он ни рабствовал перед своим любимцем, никто не упрекнет в позорном угодничестве, то и для любимцев остается тот единственный вид произвольного рабства, под которым имеется в виду добродетель; ибо у нас постановлено, что кто желает служить кому-нибудь в надежде сделаться благодаря ему лучше – либо в какой-нибудь мудрости, либо в ином виде добродетели, – для того произвольное рабство не считается ни постыдным, ни ласкательным.

Оба эти обычая – о любви к мальчикам и о любви к философии и ко всякой другой добродетели – надобно соединить в один, если хотят согласиться, что ласки мальчиков – дело хорошее для любящего. Ведь когда любящий и любимый – тот и другой, ведомые обычаем, – соглашались в том, чтобы первый за ласки мальчика платил ему, чем велит платить справедливость, а последний, следуя справедливости, помогал ему сделать себя мудрым и дельным, чтобы тот содействовал развитию его разумности и другой добродетели, а этот чувствовал нужду в получении образования и всякой мудрости, тогда, по соединении этих законов в одно, и только тогда ласки мальчика, дарованные любящему, будут делом хорошим, а больше ни в каком случае. При этом условии не стыдно быть и обманутым, а при всех *других* условиях, обманут ли оказывавший ласки или нет, равно стыдно. Ибо если юноша оказывал ласки любящему, рассчитывая, что он богат и ради богатства, но был обманут, не получив денег, так как обнаружилось, что любящий его – человек бедный, все равно ему должно быть стыдно. Подобный юноша является как бы обличителем самого себя, ибо он ради денег всякому готов служить всем, а это нехорошо. Таким же точно образом, если некто, оказывая ласки любящему как достойному человеку и с тем, чтобы благодаря дружбе с ним стать лучше, был обманут, потому что тот оказался человеком плохим, не стяжавшим добродетели, – этот обман был бы хорош; потому что обманутый опять как будто бы приоткрыл внутреннюю сторону своей души, а именно то, что ради добродетели-то и из желания стать лучше он готов всякому сделать все, а это тоже всего прекраснее. Итак, оказывать ласки для добродетели вполне хорошо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.